

Моя семья

...Я помню, как меня крестили. Мне кажется, что первое мое впечатление от жизни — это купель под водой: меня окунули в чашу серебряную — ух! — и я вышел. Наверно серебряную, потому что уж очень она сияла. И вода в сиянии в сильном вибрирует... Меня ведь не маленького крестили.

И мне эта купель все время мерещится, преследует...

Я хорошо помню трагическую участь деда, как его глубоким стариком выгнали из дома, и он ничего не понял, он думал, что это просто хулиганье, бандиты пришли его грабить. Он был сильный старик, стал их прогонять из своего дома, взял коромысло, ему было восемьдесят шесть лет. Они его выкинули на снег, и с ним был insult. С трудом его все-таки родственники отходили, посадили в поезд, и он приехал с бабушкой в Москву.

Отец в это время сидел, и встречал деда на вокзале я, мальчишкой совсем. Сколько мне было? Лет 11 — коллективизация начиналась, 29–28-й годы — 10–11 лет. И я помогал носить вещи деду, он плохо ходил после удара, рука не работала, и я до сих пор помню, как за то, что я ему помог перетаскать на третий этаж все их нехитрые пожитки, он дал мне большой серебряный рубль. Я был удивлен и пролепетал:

— Что вы, дедушка!

Дед наставительно произнес:

— За всякий труд надо платить. Вот они не платят, и ничего у них не получится. Запомни, внучек...

Дед и бабка были крепостными. Когда отменили крепостное право в 1861-м году, они очень рано женились и он очень умело вел хозяйство. Он был грамотный, очень верующий, был церковным старостой, пользовался большим уважением в деревне. У него был великолепный сад, его руками сделанный. Дом стоял — хороший сруб в два этажа, крытая железом крыша, хорошо покрашенная. Мы любили по ней бегать, а дед гонял.

Дед жил в деревне Абрамово, а я родился в Ярославле тридцатого сентября 1917 года — за несколько дней до революции все-таки я успел проскочить. Вера, Надежда, Любовь, мать их Софья и я. Никогда цветы нельзя было в этот день подарить — все разбирали для дам! С пяти лет моя семья переехала в Москву.

Ярославль — это древний русский город на Волге. И там первый театр — театр имени Волкова, при Екатерине Второй основанный. С великим русским актером Волковым. Большой, классический театр, с колоннами, с портиком — очень красивый старый театр.

Отец потом привозил нас к деду. Он уже был довольно состоятельный. И все равно дед оставался главой семьи. Все садились за стол, и только с разрешения деда, после молитвы, все начинали есть. И отец деда всегда называл на «вы», так же как я отца всю жизнь: «папа, вы».

Видимо, это было несколько лет — в деревню мы приезжали на лето. Сперва я помню, мы с братом приезжали, значит, еще Наташи не было, а потом мы втроем приезжали. Значит, это несколько раз было. И в ночное лошадей там гоняли, и на сеновале прыгали и спали. И помню еще

всякие эпизоды такие: как двоюродные братья мои, здоровеннейшие — род был сильный, — они, если выпивали, то жеребца — рыжий жеребец был прекрасный, звали его Барон, — они подлезали под него и таскали, кто дальше пронесет, сколько шагов. Такие развлечения. В городки они очень любили играть — с коваными битами, — одной лаптой вышибали фигуры. Лихо играли, деревня на деревню. Ну потом, конечно, и страшные драки я видел, деревня на деревню.

...Мне врезались какие-то черты детства. Например, когда я прыгнул со стола. Дед сказал:

— Выгони корову из сада, — а я на столе танцевал. И я прыгнул и попал на осколки стекла от керосиновой лампы, и они у меня в пятку вошли. Ну, и мама стала кричать:

— Господи!.. Скорей... врача!

Дед ей сказал:

— Замолчать!

Мне дал хорошую подзатрещину, положил на колено, вынул перочинный нож, прокалил его на спичках, вытер и потом начал выковыривать все стекла из пятки. Я стал орать, он мне изредка давал подзатыльник, чтоб я прекращал орать.

Он все выковырял, посмотрел, что нет там стекол больше, залил йодом, перевязал ногу, отнес в сад и сказал двоюродной сестре:

— Сорви ему яблоко и ягод.

У него были прекрасные яблоки, антоновка, черная смородина, малина, — замечательный сад. И мне врезалось, что дед разрешил, а двоюродная сестра сразу стала воровать: набирать за пазуху яблок — и я это помню. Потому что мне было больно, и все-таки я ей говорил:

— Как тебе не стыдно, Прашка? Дед тебе разрешил взять яблоко, а ты воруеть и столько набрала яблок!

Это вот какие-то первые понятия, что плохо, что хорошо, что нельзя врать. Как можно не слушать деда! Видите, это врезается на всю жизнь.

И так же он плавать меня учил. Взял в охапку и бросил в пруд — там карасей мы ловили — и я выплывал. Я выплыл с трудом — ну так, по-лягушачьи, он опять меня бросил. Таким образом я стал плавать.

Он замечательно собирал грибы, он их фантастически находил. Я смотрел за ним, и он меня научил, как собирать грибы. И когда он был уже не в себе, гонял меня:

— Уйди, чего ты за мной все ходишь.

А я боялся его одного оставлять. Я отбегал, а потом опять приходил, чтобы отвести его домой...

Дед носил окладистую бороду, имел иконописное лицо и мне всегда напоминал Николая Чудотворца.

В Москве дед был совсем мало, он был раскулаченный, и его надо было скрыть. Поэтому отец, видимо, и снял в Малаховке, по Казанской дороге, дачу, и дед там жил с бабкой.

Там он и умер, и я хоронил деда мальчиком и всю ночь смотрел на лежащего мертвого деда. Потому что никого не было, была бабка живая еще. Но он умирал совершенно как святой, ночью крикнул:

— Вставай, приведи священника!

Это было в Малаховке, и я бегал по этой не то дачной местности, не то деревне ночью. И отыскал священника, привел. Священник отпевал деда, свеча у деда горела, он сказал бабке свои наставления, потом мне сказал, что я должен передать Петру. Он так отца звал — Петр. И по библейски совершенно — закрыл глаза и отошел.

Папа увидел мою маму на балу в гимназии, она с лестницы спускалась, бежала. А он такой шкет был из коммерческого училища. И он влюбился сразу.

Мама была полуцыганка, и дед был очень недоволен этим браком. Мой другой дед — по линии матери — был чистый цыган, но оседлый. Он очень любил лошадей и на выезд держал двух лошадей всегда. Просто из любви к лошадям, хотя не был богат.

Отец был у меня коммерсант, довольно состоятельный и образованный человек. У него был такой вид, что нигде билета не спрашивали, даже советские. Очень импозантный был вид. Выше меня, шире. Очень любил красивые вещи, очень женщин любил. Входил в комнату и говорил маме:

— Анна, парадно! Сними все чехлы в гостиной. Зажигай люстры. Поставь красивый сервиз кузнецовский.

Мама в испуге говорила:

— Кто-то придет? Ты не предупредил, Петр!

— Никто не придет, мы будем сами.

— Ну, а зачем нужно все снимать?

— Я хочу, чтобы сегодня было все парадно. Я люблю, когда все красиво.

Он очень любил это. Я всегда поражался и спрашивал:

— Папа, зачем так?

Он говорил:

— Ах, ты ничего не понимаешь. Это же красиво. Жизнь одна. Надо уметь жить...

Ну, его и посадили, конечно. Барин, нельзя было терпеть.

— Ну-ка, голубчик, обгони этот трамвай! — Это он на лихаче катит меня из Сандуновских бань. — Порадуй мальчика моего, давай, обгони трамвай!

Тот:

— Сделаем, Петр Захарович!

И тут же эту «аннушку» обходит — трамвай носил букву «А» вместо номера...

Он своеобразный человек был: независимый, властный — после смерти деда он стал главой нашей фамилии.

Очень любил историю. От него осталась библиотека прекрасная. Там и Карамзин, и Соловьев, и Костомаров, и много других хороших книг. Отец любил их читать и приучал и нас читать. Нам не всегда хотелось, но что-то, даже Карамзина, я помню.

После того, как меня лишили гражданства, часть книг осталась, а часть куда-то исчезла. У меня в квартире в Сокольниках было очень много книг — в два раза больше, — многие еще от папы.

...Папа работал в какой-то шотландской компании, которая торговала рыбой. Рыба, икра, сельдь. Это я по разговорам только помню.

Потом у папы в Охотном ряду был магазин. С купцом Головкиным. Соления: огурцы, грибы, сельдь; все мочености: яблоки моченые, арбузы, всевозможные капусты, — магазин солений.

Я, конечно, там бывал часто. Очень чисто все. Это где сейчас гостиница «Москва». Охотный ряд шел с двух сторон: где потом был Совет министров, Госплан (а сейчас Дума), и с другой стороны гостиница «Москва» — вот это и был Охотный ряд.

Если вы идете от Театральной площади, то слева, а если от Манежа, то справа.

Это сперва был магазин их вместе: «Головкин и Любимов». Я помню, что Головкин Сергей (Ионыч) жил за Плющихой в каком-то переулке, у него был деревянный дом с участком, там были склады. Я помню, что у отца были большие склады, огромные бочки-дошники, где солили капусту, и как сидели эти бабы, а мы ребятишки все туда бегали есть кочерыжки, когда капусты разгар, засаливали на всю зиму эти огромные кадки. У самого берега Москвы это было. Это был большой участок земли, наверно гектара полтора-два — там были большие склады для этого магазина и, видимо, для оптовой продажи.

В двадцатые–тридцатые годы папа работал — если по старым понятиям — коммивояжером. Он часто менял работы. Иногда его приглашали где-то консультировать. Потому что он был человек, видно, в коммерции сильный и в таком молодом возрасте уже стал довольно состоятельным господином. А потом, видимо, когда менее компетентные люди, которые пытались еще что-то в кооперации делать, — они к нему обращались за помощью. Он умел разговаривать с людьми, налаживать контакты, принимал в соленьях, в грибах, в рыбах, и так далее.

Во время войны было, конечно, как и у всех, жалкое существование. Он где-то работал, и мама работала, но, я помню, когда увольнительная у меня была, я приносил все, что мог, какой-нибудь пшеник или сухой паек, если мне удавалось получать. Нас посылали куда-нибудь — я брал сухой паек и скорее бежал к ним. Был комендантский час в Москве, поэтому я бежал к ним — бегом туда и обратно в казарму.

После войны папа где-то еще пытался работать, а потом вышел на пенсию. И неожиданно очень — он никогда

не пил и не курил, он видел братьев, которые сильно пили, у него какое-то отвращение было к этому, — такая сложная болезнь в старости, 72 года, — туберкулез и диабет. Одно исключало другое. Лечили тогда плохо, как и сейчас, медицина у нас всегда была скверная, и он очень быстро сгорел. Он умер, как раз когда я поставил «Доброго человека...», он даже не посмотрел, все интересовался. Помню, я его из больницы брал и не знал, что делать. Врачи говорили, что ему нужен уход, а он говорил, что нет, «я хочу умереть дома».

Я врачам сказал: «Нет, раз он хочет умереть дома, я его возьму». И я с Димой, мужем моей сестры, полковником медицинской службы, привез его домой, на Фрунзенскую. Помню, когда я подходил, он отстранял меня рукой — боялся, что я могу заразиться. Все измучились, мы маму отвезли к сестре. И брат измучился, я брату сказал:

— Ты все-таки поезжай поспи.

Мы остались с Димой, и он на наших руках умер.

Еще я немного прикорнул, ночью не спали, и вдруг Дима вбежал и сказал:

— Юрий, отец умирает.

И я видел, как угасает человек.

* * *

В Москве мы жили в Земледельческом переулке, дом 3, квартира 9, третий этаж.

Долго мы там жили, нас там уплотняли. Помню, четыре сестры были вселены в кабинет папы со всей мебелью. Я очень запомнил вертящийся такой стул венский — вертушка. На нем была стилизованная охотничья табуретка, какая-то на таких копытах... и письменный стол папин роскошный — большой, красного дерева. Стол-то он взял,

а какие-то вещи остались, ведь раньше весь этаж был папин в этом доме.

И там поселились четыре сестры — Песя, Сара, Мера, Фаня. А у меня был пес Дезик, которого я очень любил, — маленькая собачонка. Типа овчарки, но полудворняга. И он постоянно «пысал» в их галоши. Были все время скандалы. И мама оправдывалась, извинялась. Потом, видно, этого Дезика они сдали в собачник. Тогда ездили по дворам, собирали бездомных собак.

Мы с братом бежали туда, где у них своз был, чтобы убивать, и искали нашего Дезика. Помню, это было большое горе. Но так этого Дезика и не нашли. И мы в отместку достали молоток, гвозди и прибили их галоши к полу. И был дикий скандал. Нас обвинили в антисемитизме, писали доносы. Хотя мы тогда не понимали, при чем тут «антисемитизм» и что это такое.

Просто нас удивляло, и я говорил:

— Ну как же, мама? Там же вся наша мебель, мы там играли, в той комнате. Они же в нашей комнате живут. Почему же они и Дезика отняли?

— Ну потому что вы хулиганы, нельзя такие вещи делать.

Мы говорим:

— Но они собачку нашу сдали, там ее убили.

Я помню, что брата в милицию взяли и посадили, потому что тогда в газетах печатались уже списки лишенцев — людей, которых лишали прав, и мы как дети лишенцев уже подвергались остракизму.

Потом у нас была двухкомнатная квартирка на Фрунзенской набережной — маленькая очень. Иногда послы удивлялись. А они меня провоцировали — послы:

— Вы знаете, у вас все-таки странно: никто не приглашает в гости.

Я говорю:

— Что вы?! Это вам так кажется!

— Так пригласите.

— Да на здоровье. Поехали.

— Как?

Я говорю:

— Только вот я не за рулем сегодня.

— А вы не боитесь сесть в машину посла?

— Да кто вам все такие глупости говорит? Поехали.

Я только не помню, есть у меня выпивка или нет.

Тот говорит:

— Ну, это мы захватим.

И потом, когда посол входил, он говорил:

— Простите, это ваша квартира?

Я говорю:

— А чего? Заходите. Сейчас все сделаем. Все будет нормально. — Балкончик, турник показывал, как я подтягиваюсь. Потом после нескольких таких визитов меня вызвали. Сказали:

— Почему вы не просите квартиры? Как вам не стыдно приводить иностранцев в такое жилье, позорите нас.

Это было, когда уже существовал Театр на Таганке.

В этой квартире и умер папа.

* * *

Пожалуй, самое сильное мое первое театральное впечатление, это когда папа привел нас во МХАТ смотреть «Синюю птицу» Метерлинка.

Папа привел меня, старшего брата Давида и Наташу. Почему мне это запомнилось очень? Я был ребенком,

Наташа совсем маленькая, и я помню, как там появился Огонь и начал махать языками пламени; там же персонажи все такие — Пес, Кот, Огонь, Ночь и так далее. Там летали такие птицы. И она испугалась и под стул полезла, а старший брат стал ее успокаивать: «Что ты, это же глупости», — но она все равно забилась под стул и плакала. Мне тоже было страшно, но я сидел и делал вид, что я не боюсь. Я как старший смотрел спокойно, и я ее, позоря, вытаскивал из-под стула.

Мне запомнилось: вся атмосфера, как папа привез, в ложу посадил нас, все это чинно, капельдинеры — это совершенно другой мир, который сейчас потерял.

Он водил и в Большой, и в Художественный театр нас, детей.

Какой же это год? Раз была Наташа, а я пошел... не помню, в какой класс, значит, Наташа была совсем маленькой. У нас разница с ней четыре года. И между мной и старшим братом тоже почти четыре. В 1914-м году он родился, а я в 1917-м. И значит, раз Наташе было, наверное, лет пять, могли уже пустить ее, значит, мне было уже лет девять или десять, а старшему четырнадцать.

Потом еще один спектакль я до сих пор помню. Когда я видел, как Станиславский играл «Горе от ума» — Фамусова. Там играл и Качалов — целая плеяда блистательных старых мастеров — Москвин, Качалов, Лужский, Репетилова. И важно, что я все помню детально: полукруглая печь дровяная, вокруг нее диван красного дерева, и Станиславский в сцене со Скалозубом просил его:

— Сюда, сюда садитесь, вам тут удобней. — И залезал на диван и открывал отдушничек — оттуда, казалось, вырывался жар. И меня поразило, какое все было натураль-

ное: настоящая медная заслонка, которая открывалась, оттуда тепло шло.

Я до сих пор так и вижу начищенную до блеска медную эту штуку и как огромный, солидный человек лез, сажал, очень подробно все помню детали. Но это уже более позднее воспоминание.

Вот первые два воспоминания о театре: одно символическое, другое реалистическое. Интересно, что я запомнил детали и того, и другого. Я помню, мне очень понравились костюмы, как это сделано: персонажи и реальные, и сказочные. Я не перечитывал, а с тех пор помню: Огонь, Вода, Кошка, Собака, Тесто. Я все хотел такую же сказку сделать для детей.

И в своем искусстве я ближе, безусловно, к Метерлинку. Я с удовольствием бы ставил «Горе от ума», но только совсем в другой манере. И — так странно судьба поворачивается — одна из моих постановок в Москве — в новом театре — это «Три сестры» Чехова. И, когда я его ставил, я снова столкнулся с Метерлинком — оказалось, что в письмах этого периода Чехов много говорит о Метерлинке.

* * *

У папы была своя ложа в театре, а может, он брал эту ложу. Это, наверное, еще до первого ареста, потому что после ареста вряд ли он мог ложу брать. 26-й год — это нэп и еще никого не брали. Когда мама сказала мне, что папу арестовали, — это я помню, потому что мне стало плохо и я упал в обморок. И мама очень строго сказала: «Встань! Мальчик не может так себя вести!» То есть — строгости, не то что «Ай-яй-яй!». У меня действительно закружилась голова, и я упал, но быстро пришел в себя. Вот это я помню. Потом маму арестовали в Москве и от-

везли в Рыбинск, рядом с Ярославлем, у них такая методология была — по месту рождения, чтобы сразу оторвать от семьи. Ведь они специально это делали, чтобы дети остались...

И был момент в жизни, когда вообще мы остались втроем: сестра, я и брат — взяли и мать, и тетку, и отца. У отца хотели забрать деньги — это еще был период не политический. А когда они деньги отбирали, тогда в Москве были созданы Торгсины — это есть в «Мастере и Маргарите» Булгакова. А мать взяли, чтоб повлиять на отца, мол, «дети остались одни — раскошеливайтесь, тогда вернем мать». Отец был гордый, сильный, он ничего не говорил им, и у него не было таких денег. Тогда мать не выдержала, конечно, и, когда они приехали к ней, отдала все свои драгоценности: серьги, кольца и так далее — она боялась, что мы останемся одни. А я возил ей, совсем маленький, передачу в тюрьму.

Я совсем мальчишкой поехал в Рыбинск, повез ей передачу. Мне было лет десять, наверно, не больше...

Она была в тюрьме несколько месяцев. Потом она вернулась, но я успел ей отвезти передачу. И мы втроем заседали: сестра, я и старший брат — и решали, кому везти передачу. И выбрали меня, что, мол, меня все-таки не возьмут. А я сказал брату:

— Тебе нельзя ехать, тебя могут посадить.

Вот такая школа. И несмотря на это, он был убежденный комсомолец, организовал какую-то коммуну, работал. Я у них мальчишкой даже поваром был, им кофе из желудей варил, тогда были карточки, жизнь была очень тяжелая, трудная. Но пропаганда сумела, видите, так мозги затуманивать людям бесконечно, что надо терпеть во имя их скудоумных химер.

Сейчас, спустя много лет, я понимаю, каким я был дураком. Ну, если мы с братом — брату было четырнадцать лет, а мне десять — могли говорить нашему бедному отцу:

— И правильно вас посадили, папа, потому что вы отсталый тип...

А я, маленький щенок, — за брата, конечно. Я боялся, но хорохорился и тявкал за старшим. Папа ничего не сказал, просто такую пощечину ему дал, что он покатился под стол, метров пять летел и застрял между тумбочек письменного стола красного дерева с зеленым сукном — туда как шар бильярдный — бух! Он гордо вылез оттуда, ну и мы с ним ушли из дома. Я ушел к приятелю, Преображенскому, как доктор в «Собачем сердце», был замечательный детский врач Сергей Иванович Преображенский...

Мой дорогой отец горько заблуждался: он ни секунды не сомневался в том, что это должно рухнуть. Он мыслил примерно как Бунин в «Окаянных днях». Но считал, что это должно рухнуть, поэтому он не уехал.

Это как у Эрдмана в его пьесе «Мандат»:

«Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть?» — «Нет, Сенечка, кажется, еще держится». — «Ну что же... опусти занавесочку, посмотри, завтра как».

Потом через полгода взяли мать. Прошло тоже месяца три. Им показалось мало, они взяли тетю Дуню, чтобы мы совсем остались одни. Мы остались одни. Мы продавали очень хорошие книги, и взрослые нас обманывали. Там была уникальная книга «Горе от ума» — на слоновой бумаге и с такими иллюстрациями, мы все смотрели — замечательно — огромная книга. Видно, их вообще